

Печально вздохнув, нехотя оглянулся, чтобы ещё раз попрощаться... Это я задумался, а потому вышел из троллейбуса на остановке «Политехнический институт» – машинально, как делал тысячи тысяч раз на протяжении многих и многих лет. Делал буднично и равнодушно, полагая: так будет всегда. Что ж, подойти к Дворцу культуры имени Коминтерна не решился, а может, просто не захотел, ведь его некогда величественный вид теперь меня сильно удручал. Поглумилась над ним потребительская современность: куда-то исчез роскошный чугунный забор, который с десятков лет прятали аляпистые плакаты с коммерческими агитациями – унылыми порождениями перестройки; в правый бок вгрызлась двухэтажная пластиковая химера, в которой расположился банк. Глядя на это нелепое строение, диву даюсь: неужели бывают столь бездарные архитекторы, которые только и способны на то, чтобы портить, а не дополнять, уродовать, а не созидать, загромождать, а не вписывать, халтурить, а не возводить?.. Прежде на этом месте располагался грязный рынок с разнопёрыми палатками и безликой толпой – вся эта мазня на палитре улицы превращалась в безобразный цвет, образуя нечто лишнее. Но я никогда не думал, что это самое нечто сформируется в сооружение, вырастет над рынком и устремится безуспешно соперничать с усадьбой культуры в стиле сталинского неоклассицизма... Цепкой болью отозвалась и рекламная насмешка, состоящая из гигантских букв на кровавых прямоугольниках, расчётливо, исподтишка по-браконьерски раздирающих стройный фасад дворцового здания между триумфальными колоннами: «М-Е-Х-А»-ха-ха...

Что с тобой сделали, монументальный и прекрасный господин, мой уважаемый учитель и старый друг, полвека учтиво и приветливо встречавший всякого входящего, не под стать твоему ампиричному наряду одетого?

Я окинул взглядом аркообразные окна: это они щедро дарили свет и пространство моей изостудии, это они открывали пути за пределы реальности, что скрывалась за готически таинственными силуэтами корявых пуховых тополей, основательных дубов и романтических лип. О, какое это было время! Помнишь? Сладковато-пряный аромат масла и кедрового лака приветливо окутывал каждого гостя, приходящего ко мне. А мои борода и волосы были тогда длинными и медными. Теперь их будто окунули в белила цинковые...

Но с тобой обошлись куда коварней. Раньше тебя окружал парк с живописными деревьями. Они в своём свободолобивом умении раскидываться по наитию так гармонично тебя задекорировали, превратив в великолепную усадьбу для скромного рабочего класса, что никакой искусный садовник, будь он самым даровитым художником и обладателем магического секатора, не причесал бы их столь пышно и не скомпоновал бы в такой сложный витиеватый орнамент. Да, природа сама себе гармония, она легко преобразит даже убогую лачугу, не то что великолепное здание...

Помню узкие тротуары, старинные чугунные фонари, деревянные лавочки, фонтан в центре парка, неухоженные газоны с разнотравьем и кустами. Эта панорама радовала, утешала, а ещё улаждала – будто хаотично выполненная мастихином репродукция времён Возрождения. Помню детскую площадку с каменной крепостью и каруселью из прочного негибачего железа. Вот этоковка! Орудия труда, посуду и спортивный инвентарь послевоенные советские заводы продолжали делать так же крепко и надёжно, как некогда танки и ракеты. Теперь вместо парка вздулся полусферический картинг-клуб. Детей нет.

Ах, дети! С улыбкой вспоминаю... С ними в изостудию хлынуло много света и тепла, и всё преобразилось, ожило, зашевелилось, наполнилось смыслом! Они смотрели на меня восхищёнными глазами и, как нечто сакральное, ловили каждое моё учительское наставление. «Весь мир находится в движении, – деловито скрестив на груди худые руки, замечал я, – нужно лишь выбрать самое яркое и о многом говорящее»... «Улови тонкости перспективы. Линия горизонта не заканчивается под ногами персонажей, у кромки холста, а располагается гораздо выше. Смотри и увидишь: ландшафт простирается дальше, и для неба остаётся не так уж много места»... «Земля не “чёрная” и не “коричневая”, она имеет множество оттенков, понаблюдай, ты найдёшь то, что никто никогда не заметит»... «Нет, это не “фу говнистого цвета”, а самая расходимая краска у художника под названием “Охра светлая”, потому её у нас целая литровая банка»... «Постоянно совершенствуйся, не только посещай всевозможные художественные выставки, но тренируй руку и глаз: носи с собой блокнот с карандашом и делай зарисовки всего, что увидишь. Это потом можно будет использовать в работах»... «Каждый тюбик имеет своё название, в зависимости от оттенка, это не просто “красный”, это “кадмий светлый”»... «Написать можно не только настроение, но и музыку, и аромат»... «Немного молчания, недосказанности не повредит. Мозг публики домыслит то, что ты не покажешь, на что лишь намекнёшь»... «Никогда не “срисовывай” с фотографий: не губи себя, не упрощай реальность. Ведь плоскость передаётся легче содержания, и слишком сильно ощущается её фальшь. Следует уловить настроение, объём, движение, уникальность мгновения»... «Сначала художника учат достоверно передавать форму: иначе он не сможет показать душу. Можно ведь просто пролить и разбрызгать краски и выдать это за импрессию, но пронизательный человек с недеформированным восприятием сразу догадается, что ему лгут»... «Не описывай, а проживи»... Да мало ли что я говорил этим юным дарованиям, из которых только один стал художником. Мне кажется, это я у них учился...

Вот и у Пикассо: в шесть лет его работы выглядели как у зрелого мастера, а взрослым он потом всю жизнь пытался писать как ребёнок. Однако у него так и не получилось. Есть что-то неподдельное в рисунках детей, что-то настоящее, искреннее, незашоренное, всё-то у них на чистом листе возможно...

Знаешь, а они меня любили, радовали, умиляли... изредка сердили. А ещё простодушно утверждали, что я похож на Иисуса Христа. Лично я не видел сходства, даже написал автопортрет в профиль: за спиной крылья, а в руке зажжённая папироса. Вышло забавно, и к тому же честно...

А помнишь удивлённые глаза десятилетней Леночки? Она показала цветущий каштан, выполненный гуашью. Я тогда восхищённо воскликнул: «Ну надо же, с какой любовью написано! Сейчас же беру на выставку!» А она долго недоумевала, откуда я узнал о том, что она любит это деревце... Да ведь всё, что художник чувствует в творческом процессе, ровным счётом всё – напрямую переносится в его творение, ничего не утаишь, не скроешь!

Вот и в тебе, мой старинный друг, я вижу тоску немецких военнопленных по своей родине. Тебя они построили последним, восстанавливая Воронеж после разрухи, которую сами же и учинили. Жилые дома с конусообразными крышами и толстыми стенами, полукруглые здания в центре города, заводы – всё возводилось добротнo, прочно, хорошо, под присмотром нестрогого русского конвоя, и всё имеет узнаваемые немецкие национальные особенности: врождённая тяга к дисциплине и аккуратности, рациональность, экономия, безэмоциональность и готическая угловатость, а ещё нескрываемая тоска по дому... Понимаешь, если не вдохновлять, не оставлять часть своей

души в создаваемом, не наполнять собою, то стоит ли тратить на пустоту силы, время, краски, которые сейчас, кстати, очень дороги? Известно ли тебе, что кисть художника стирается за пару картин, но может пролежать века и сохраниться так же чудесно, как не тронутые временем волосы мумии. Я думаю, полезнее всё-таки стёртость её мягкой или жёсткой щетины: «Не делайте ничего безвкусно, кое-как. Помните, в “кое-как” можно потерять всю жизнь...»

Кстати, а я известен больше в Германии, чем здесь, так что и в этом просматриваю наше с тобой сходство, драгоценный мой друг...

А самого юного изостудийца – звонкоголосую миниатюрную Юльку – помнишь? Она умудрялась вымазаться краской, даже если осваивала штриховку грифелем. Как-то я хвалился её «Танцующими карандашами» перед одним маститым художником, обратив внимание на её возраст: «Мал золотник, да дорог». А Юлька, решив блеснуть знаниями взрослых выражений, серьёзно уточнила, рассмешив всех до слёз: «Мал клоп, да вонюч»...

А Андрюшку помнишь? Мальчик с богатырским телосложением, который перед девочками стеснялся, что его на занятия водит бабушка, но с нею был трогательно учтив, потому его возмущения всерьёз не воспринимались...

А удивительную Светлану с невероятными акварелями, где натюрморты изображались в виде кристалликов? Она пыталась глубоко постичь суть вещей и мир видела будто изнутри. Глядя на неё, я невольно задавался вопросом: кто однажды станет избранником столь необычной девушки, с её нестандартной внешностью и странным взглядом на жизнь? Через двадцать лет я получил ответ. Случайно встретил её в Алексеево-Акатовом женском монастыре, где делал зарисовки для будущей картины. Светлана тогда меня поразила своей степенной медлительностью, уверенностью и умиротворённостью. Она выглядела завораживающе величественно в чёрной мантии и клобуке. Взгляд отрешён, а глаза такие же ясные и задумчивые, как были в юности. Теперь Светлана пишет только иконы, занимается фреской, расписывает храмы.

Знаешь, мой старый друг, а ведь какой диссонанс: стены моей мастерской украшают картины с нагими натурщицами. Они притягательны, зажигательны и бесстыжи!

Светлана же работает над образом Богоматери, на который никто не посмеет, не дерзнёт посмотреть как на женщину. Она Мать всех живущих. И образ матери никогда не вызовет вожделенных чувств и сладострастия у вменяемого человека, потому что он с древнейших времён слишком прекрасен, недостижимо чист и свят, надмирен и одухотворён. Жаль, что в современных женщинах встречаешь его редко. Едва разрешившись, они спешат вернуть соблазнительность и фигуру, чтобы влезть в моднодневное и чтобы наслаждаться вниманием мужчин, а не уникальными мгновениями младенческой жизни – скоротекущего становления растущего человечка...

Однажды дети повзрослели. Их жизнь озадачила более важным, чем я и мои нестрогие уроки ИЗО. Грустно. Вместе с ними ушло волшебное очарование, что-то очень яркое, многоцветное, волшебное! Изостудия осиротела, опустела, заскучала и стала просто мастерской художника. А потом её и вовсе урезали, подняв цену за аренду. Стало тесно.

Но двери никогда ни перед кем не затворялись: ты знаешь, мой старый друг, я всегда искренне радуюсь любому пришедшему и принимаю людей такими, какие они есть, потому они ко мне и тянутся. Люди – уникальные миры со своими галактиками, дарящие великое множество идей и живого материала для развития застывших картин. Помнишь, ученики и гости потекли рекой. Кого только не было! Чрезвычайно интересные и необычные люди. Помню, как одна девушка, перед тем как приняться за натюрморт, медитировала: получались оригинальные картины. А один броско одетый полный мужчина с тростью, в полосатых брюках и в жёлтой майке, фотографировал то, что обычно ни у кого не вызывает восторга: потёртости на диване, облупившуюся краску на садовой лавочке, ржавчину на гараже, крыло мухи... Он увеличивал изображения, и получились картины, будто нарочито созданные опытной рукой художника: бегущие олени, Мадонна с Младенцем на руках, осенний лес, старинный замок... Постепенно изостудия стала превращаться в место богемных вечеринок, с вином и звякающими бокалами, с нескромными шутками и интеллектуальными измышлениями, с заливым женским смехом, гулко тонущем в зыбком сигаретном мареве, с язвительными насмешками и сарказмом от разочарованных жизнью или с тонким юмором и возвышенными устремлениями от не успевших разочароваться.

Я в то время всё ещё был доверчиво открыт миру, жадно постигал его неуловимые флюиды, горел во мне какой-то огонёк и других к себе притягивал, пока я опытом не выстроил стены и ступени.

С годами огонёк мой стал восходящею звездой, далёкой даже для меня самого. Постепенно поднимая планку мастерства, я не заметил, как отдалился от родных, друзей и близких: между нами вдруг разверзлась пропасть, я остался одинок и не понят.

По привычке делился с другими достижениями и открытиями, не осознавая, что они к ним не готовы, потому что не несли со мною тяжесть поисков и преткновений, не делили тот же каменистый путь длиною в жизнь – от равнин к вершине. Это было всё равно, что требовать от маляра использовать таинство валёров, в то время как его дело – качественная штукатурка. Задачи у нас разные!

Когда становится невыносимо: приходят перемены. В моей жизни появилась муза... Наша связь казалась чистой и возвышенной... Друзья не осуждали...

Наверное, это жестоко так разочаровать свою музу. Сначала её делаешь избранной, восхищаешься ею, всего себя готов положить к подножию собственноручно возведённого пьедестала. Потом неустанно вдохновляешься, жадно впитывая её идеальные соки; она до одури манит тебя неизведанностью. Постепенно музу приручаешь, делаешь сугубо своей: она оказывается предсказуема, управляема и, столь некогда желанная, перестаёт быть интересной, становится какой-то будничной, приземлённой, с мещанскими потребностями. Муза и быт – вещи несовместимые!

Вот и тебя женили, мой старый друг, и, как оказалось, на купчихе: торгашество изрядно потрепало твой внешний вид. Должно быть, и внутренний тоже... Как я любил скользить ладонью по ледяным каменным широким перилам, отсчитывая массивные ступени на пути к мастерской!

Не дуйся, мой старый приятель, но уже не чувствую щемящей тоски по тебе. Всё переболело раньше, когда вывозил отсюда картины, подрамники, мольберты, реквизит для натюрмортов (дырявый самовар, черепки от глиняного кувшина, ржавую подкову, кожаный ботинок с оттопыренной, зубастой от башмачных гвоздиков подошвой, скрипку, чугунок, бутыль в оплётке, лапоть, узкую деревянную доску для стирки и многое другое, ценное в своей уникальности, со своей яркой историей, но менее захватывающей, чем твоя и моя). Я, между прочим, все эти сокровища годами по деревьям да по свалкам собирал, но в новом месте мало что поместилось.

В моей нынешней мастерской довольно сумрачно, хотя есть много искусственного света. Двухэтажное помещение по-своему очаровательно, но лишено простора и воздуха. Окна – как в толчке электропоезда, и почему-то под потолком. Само здание выглядит современно: хайтек, так сказать, – смесь пластика и алюминия, мёртвых чёрных квадратов и бессмысленных безделушек, а соседи теперь не танцевальные ансамбли, музыкальные и скульптурные студии, но банальный гипермаркет... Знаешь, мне всё чаще говорят, что мои картины пасмурны и серы, безжизненны и статичны. Это довольно странно, ведь я всю жизнь только и делал, что совершенствовался, пробовал себя в различных направлениях, рос от реализма к импрессионизму, мастерски владею различными техниками, давно привык к выставкам своих картин, мои работы дорого продаются здесь и за рубежом. Я мастер своего дела, профессионал, и продолжаю поиски нового образа, темы, приёма, подачи, при этом совсем не кичлив. Не лукавлю, я с детства такой. И совершенно не ожидаю ни критических похвал, ни журнальных дифирамбов, ни лавровых наград. Я просто родился художником и по-другому жить не умею.

Ты помнишь, мой старый друг, как я краснел, робел и тушевался, когда публика восторгалась и аплодировала. Разумеется, мне было приятно, что оценено моё умение: зритель обнаруживает детали картины именно в той последовательности, в которой я хочу их показать. Но есть в моих работах и то, что до сих пор публикой не открыто, не замечено, однако это не даёт мне повода ни к огорчению, ни к гордости. Всему своё время, а я продолжаю работать.

Поговаривают, что тебе скоро вернут облик дворца (иностранно назвав тебя, кажется, «Plazzo» или «Plaza») – только «дворца» без «культуры». Впрочем, ночной клуб, кальянная, бильярд и дискотека в твоём огромном зале с лепниной и балконами, с двумя шикарными барочными лестницами по бокам от просторного холла станет всего лишь местом тусовки для обеспеченных, то есть тех несчастных, кого оставили с зависимым от города комфортом: без печи, без спичек, без дров, без топора, без живого огня, без умения согреть себя и осветить, короче говоря, без свободы. Как так вышло? Нами правят бездетные, вот потому у нас и нет будущего.

Настало странное время, когда духи смердят, обувь неудобна, декор уродлив, книги тупы, хлеб и вода – муляж и синтетика, а я – излишне ворчлив, стою тут, с тобою разговариваю, сутулясь, руки в карманах, вокруг смесь пёстрой, но безликой толпы, лживые распродажи, пустая суета, фон – мрачный урбанистический пейзаж маслом, над ним траурное паспарту и деревянная рамка.